



Вспоминая Елену Шварц,

Первая годовщина.

*11 марта исполняется год со дня смерти Елены Шварц.
Поминать поэта лучше всего, читая и слушая его стихи.
Вот небольшая выборка из ее стихов разных лет.
Некоторые из них входят в общепризнанный канон Елены
Шварц, другие известны меньше. Поэмы и циклы не хочется
разбивать, в двухтомнике 2002 года (Сочинения Елены
Шварц. Спб, ММФ. Пушкинский фонд) они составляют
второй том.*

*За стихами следует статья, написанная сразу же после ее
смерти и опубликованная в НЛО, и маленький
фоторепортаж из Флоренции 2006 года, где мы
участвовали в дантовских торжествах. Фотографии
сделаны Франческой Кесса.*

*Ольга Седакова,
10 марта 2011*

Подражание Буало

Э.Л. Линецкой

Мне нравятся стихи, что на трамвай похожи:

звения и дребезжа, они летят, и все же,

хоть косо, в стеклах их отражены

дворы, дворцы и слабый свет луны,

свет слепоты – ночного отблеск бденья,

и грубых рифм короткие поленья.

Поэт собой любим, до похвалы он жаден.

Поэт всегда себе садовник есть и садик.

В его разодранном размере, где Дионис живет,

как будто прыгал и кусался несытый кот.

Неистовство и простота всего в основе,

как у того, кто измышлял составы крови.

Родной язык как старый верный пес, –

когда ты свой, то дергай хоть за хвост.

Но, юный друг, своим считаю долгом

предупредить, что Муза схожа с волком,

и если ты спознался с девой страшной,

то одиночества испробуй суп вчерашний.

Поэт есть глаз, – узнаешь ты потом, –

мгновенье связанный с ревущим Божеством.

Глаз выдранный – на ниточке кровавой,

на миг вместивший мира боль и славу.

*Некоторые виды звезд
(малая fuga)*

Скорей связи сравнений цепью
Весь этот мир –
Не то растает, унесется
В глухой эфир.

Он один – хотя их много –
Одинаков навсегда
Древний филин астрологов.
Спотыкаясь, всходила звезда
По проволочной лесенке полночи.
Она взойдет, повиснет,
Качаясь и светясь,
Как выданный, на нитке,
Качаясь, виснет глаз.
Но звезды моря,
Когда их много,
Когда их вынесет плавный ток,
Летят пригоршнею гороха
В разинутый в ответ зрачок.
Милее всех в окошке сером
Рассвета зимнего тяжелая звезда,
Мерцающая яйцом гусиным тускло.
Но вот – ее вдруг прикрывает неба мускул
И объявляет час начала всех забот.
Когда, всех прочих звезд песок разрыв,
Влюбленные найдут ее, и, не остыв,

Они глядят туда на расстоянье
Из стран далеких, чуждой масти,
Она им вколет в глаз взамен животной страсти
Вдруг острое друг к другу состраданье.
Астральность, намекнув,
Что отлежала бок,
Качнувшись, снова пьет
Небес черничный сок.
Еще похоже – будто божество,
Накинув тряпку неба,
Себя упрятать захотело,
Но в прорехи звезд
Сияет ослепительное тело.
Еще милее мне тот огонек,
Тот дальний свет в избушке,
И жалко мне, что нет там старика
Брадатога за чая дымной кружкой,
Но он, зажгя небесные огарки,
Как страж церковный, вышел вон.
Но лишь одну звезду увижу я затылком –
Она дрожит и пухнет и трясется,
В глазах и в зеркале, в бутылке
На отраженья разобьется.
«Сестра, ты помоги мне ради Бога,
Какая мертвая дорога,
Я знаю, что меня ты слышишь,

И вижу, как ты часто дышишь...»

Зову ее – и не напрасно –

На небесах она погасла

И с плеском кинулась в стакан,

И он дрожит, и синим светом,

Холодным светом осиян.

1972

Жертвы требует Бог – так скорей же ее принеси.
Жизнь на части ты режь, в алюминии быстро свари.
Деревянную ложкой по краям разотри.
Ну и что она есть? – паста, пепел, дурман,
Просто нечто болимое, некий болящий туман.
А ты грозно курлычешь, как старый мальчиший турман.
Ах, душа моя тлеет и кровь чуть тепла –
Потом вышла любовь и зеленой луною взошла.
Давай же прижмемся скорей к Петропавловскому кресту –
Он розовому телу меди вернет чистоту.
Что же чувствует жертва – когда она видит алтарь?
Ах, сама она чует – что кого-то прирезала встарь.
И кому-то тогда было слаще еще и больней,
Жизнь пришла и ушла, и все это было не с ней.
Позови ты ее – она снова промчится в ничто,
Только кровью и жиром забрызжет пальто,
И пока нам другая не подана весть –
Будем горькую землю оловянную ложкою есть.
Как режет до края налитый конъюнктивитный мешок –
Сколько слез в нем зашито, да высохли все в порошок.
Как подробна поверхность резного листа:
Жилка здесь, впадинка, острый зубец,
А небес стихия проста,
А для малой вещицы – ювелира резец.

(Бесформенность души – залог вечности.)
Так не будь же подробным – ужасный наступит конец!
Вот хоть глаз – кто его для примера возьмет –
Жилка алая трижды меняет течение,
У Творца столько глины – Он лепит и мнет,
Не устанет от вечного круга верчения.
О, подари – хоть кислым молоком
Косматых коз, запряженных в шиповник,
Монетой ржавою, где грубым молоком
Навеки выдавлен серебряный любовник.
Он мог бы быть возлюбленным Луны,
Бессмертным и прекрасным непонятно,
Когда б не эти – едкой кислотой
Крестообразно съеденные пятна.
Они и бывших ангелов язвят,
Когда уже им нет пути назад.

1973

Плаваньє

Я, Игнаций, Джозеф, Крыся и Маня
В теплой разохшейся лодке в слепительном плыли тумане,
Если Висла – залив, то по ней мы, наверно, и плыли,
Были наги – не наги в клубах розовой пыли,
Видны друг другу едва, как мухи в граненом стакане,
Как виноградные косточки под виноградною кожей, –
Тело внутрь ушло, а души, как озими всхожи,
Были снаружи и спальным прозрачным мешком укрыли.
Куда же так медленно мы – как будто не плыли – а плыли?
Долго глядели мы все на скользившее мелкое дно.
– Джозеф, на лбу у тебя родимое, что ли, пятно?
Он мне ответил, и стало в глазах темно.
– Был я сторожем в церкви святой Флориана,
А на лбу у меня – смертельная рана,
Выстрелил кто-то, наверно, спьяну.
Видишь, Крыся мерцает в шелке синем, лиловом,
Она сгорела вчера дома под Ченстоховом.
Nie ma juz ciała, a boli mnie glowa¹
Вся она темная, теплая, как подгоревший каштан.
Was hat man dir du armes Kind getan?²
Что он сказал про меня – не то чтобы было ужасно –

¹ Уже нет тела, а голова болит (польск.).

² Что сделали с тобою, бедное дитя? (нем.) (Гете).

Только не помню я что – понять я стараюсь напрасно –
Не царапнув сознания – его ослепило,
Обезглазило – что же со мною там было?
Что бы там ни было – нет, не со мною то было.
Скрывшись привычно в подобии клетки,
Три канарейки – кузины и однолетки –
Отблеском пения тешились. Подстрелена метко,
Сгорбилась рядом со мной одноглазая белка.
Речка сияла, и было в ней плитко так, мелко.
Ах, возьму я сейчас канареек и белку,
Вброд перейду – что же вы, Джозеф и Крыся?
Берег – вон он – еще за туманом не скрылся.
– Кажется только вода неподвижным свеченьем,
Страшно, как током, ударит течение,
Тянет оно в одном направленьє,
И ты не думай о возвращеньє.

Белкина шкура в растворе дубеет,
В урне твой пепел сохнет и млеет.
Что там? А здесь солнышко греет.
– Ну а те, кого я любила,
Их – не увижу уж никогда?
– Что ты! Увидишь. И их с приливом
К нам сюда принесет вода.

And if forever³, то... Muzyka brzmi⁴, из Штрауса обрывки.

Вода сгустилась вся и превратилась в сливки!

Но их не пьет никто. Ах, если бы ты мог

Вернуть горячий прежний гранатовый наш сок,

Который так долго кружился, который – всхлип, щелк –

Из сердца и в сердце – подкожный святой уголек,

Красная нитка строчила, сшивала творенье Твое!

О замысел один кровообращенья –

Прекрасен ты, как ангел мщенья.

Сколько лодок, сколько утлых кружится вокруг,

И в одной тебя я вижу, утонувший старый друг,

И котенок мой убитый – на плечо мне прыгнул вдруг,

Лапкой белой гладит щеку –

Вместе плыть не так далеко.

Будто скрипнули двери –

Вёсел в ключинах взлет,

Темную душу измерить

Спустится ангел, как лот...

1975

³ И если навсегда (*англ.*) (Байрон).

⁴ Музыка гремит (*польск.*).

Я знаю, чего я хотела,
Теперь уж того не хочу,
Хотела я муки и славы
И в руки попасть палачу.
Чтоб едкою этой печатью
Прижечь свои бедные дни,
Конец осветил бы начало,
И смыслом они проросли.
Но мышкою жизнь проскользнула,
В ней некогда даже хотеть,
Но в следующей жизни хочу я
Снотворным маком расцвести.
В день летний, похожий на вечность,
Самим собою пьянеть,
Никого не любя и не помня,
И беззвучно внутри звенеть.
Я знаю, чего я хотела,
Но этого лучше хотеть
И опиумным соком
Зачаток сознания извести.

1978

Белле Магид

Кровью Моцарта атласной,
Фраком ласточки прекрасной,
Растворимым и сладимым
Родником неуголимым
Мир пронизан. Хаос страстный
Держится рукою властной
На растяжках жил богов.
Аполлона это жилы, это вены Диониса,
Вживе вживленные в жизнь.
Аполлон натерся маслом, Дионис натерся соком,
И схватили человека – тот за шею, тот за мозг,
Оборвали третье ухо, вырезали третье око,
Плавят, рвут его как воск.
Но сияющий, нетленный,
Равноденственный, блаженный –
Где же Моцарт? Силой чар
В хрустале звезды Мицар.

1978

Отземный дождь
(с Таврической на Серафимовское)

Внутри Таврического сада
Плутает нежная весна,
И почки жесткая ограда
Корявая, листу тесна.
Я нахожу себя свечой,
На подоконнике горящей,
Стучащей пламени ключом
То в тьму, то в этот сад саднящий.
Я нахожу себя пылинкой
Внутри большой трубы подзорной,
К стеклу прилипшей. Чье-то око
Через меня бьет взора током
И рушится в ночные дали.
Я нахожу себя у церкви,
Среди могил, у деревянной,
Все в тучах небеса померкли,
Но льется дождик, осиянный
Огнями сотен свеч пасхальных,
Он льется на платки и плечи,
Но льется и ему навстречу
Дождь свечек – пламенный, попятный –
Молитв, надежды – дождь отземный
С часовен рук – детей, старух,

И в дверь распахнутую вдруг,
Поет священник как петух,
И будто гул идет подземный.

1978

Зверь-цветок

Иудейское древо цветет
вдоль ствола сиреневым цветом.

Предчувствие жизни до смерти живет.
Холодный огонь вдоль костей обожжет,
Когда светлый дождик пройдет
В день Петров на изломе лета.
Вот-вот цветы взойдут, аляя,
На ребрах, у ключиц, на голове.
Напишут в травнике – елена агбогеа,
Во льдистой водится она Гиперборее,
В садах кирпичных, в каменной траве.
Из глаз полезли темные гвоздики,
Я – куст из роз и незабудок сразу,
Как будто мне привил садовник дикий
Тяжелую цветочную проказу.
Я буду фиолетовой и красной,
Багровой, желтой, черной, золотой,
Я буду в облаке жужжащем и опасном –
Шмелей и ос заветный водопой.
Когда ж я отцвету, о Боже, Боже,
Какой останется искусанный комок –
Остывшая и с лопнувшей кожей,
Отцветший полумертвый зверь-цветок.

Элегии на стороны света

I. Северная

М. Ш.

По извивам Москвы, по завертьям ее безнадежным
Чья-то тень пролетала в отчаянье нежном,
Изумрудную утку в пруду целовала,
Заскорузлые листья к зрачкам прижимала,
От трамвая-быка, хохоча, ускользала
И трамвайною искрой себя согревала.
Зазывали в кино ночью – «Бергмана ленты!»,
А крутили – из жизни твоей же моменты
По сто раз. Кто же знал, что ночами кино арендует ад?
Что, привязаны к стульям, покойники в зале сидят,
Запрокинувши головы, смотрят назад?
Что сюда их приводят, как в баню солдат?
Телеграмма Шарлоте: «Жду, люблю. Твой Марат».

Скинула семь шкур, восемь душ, все одежды,
А девятую душу в груди отыскала, –
Она кротким кротом в руке трепетала,
И, как бабе с метлой, голубой и подснежной,
Я ей глазки проткнула, и она умирала.

Посмотри – небосвод весь засыпан, и сыплются крылья и перья,
Из неделю не выместь – зарыться навеки теперь в них.

Посмотри – под Луной пролетают Лев, Орел и Телец,
А ты спишь, ты лежишь среди тела змеиных колец.
Где же ангел, ты спросишь – а я ведь тебе и ответчу –
Там, где мрак, – там сиянье, весь мир изувечен.
Мраком ангел повился, как цепким растеньем,
Правь на черную точку, на мглу запустенья,
Правь на темень, на тьму, на утесы, на смутное – в яму.
В прятки ангел играет – да вот он! В земле под ногами.
Он не червь – не ищи его в поле ты роясь.
Видишь – светлые птицы к зиме пролетают на полюс?

Посмотрела она, застонала,
И всю ночь, о зубцы запинаясь летала,
И закапала кровью больницы, бульвары, заводы.
Ничего! Твоя смерть – это ангела светлого роды.

II. Южная (На мраморную статуэтку)

И. Бурихину

Девушка! Вы что-то обронили?
Ах, неважно. Это так – ступня.
Как перчатка узкая. И пылью
Голень поразвевалась, звеня.

И глядя на вас, я хватилась себя –
Нет старой любви, нет и этой зимы,

И будущей – только на мачте огонь
Горит синеватый. Да ревы из тьмы,
Да стаи ладоней кружат надо мной,
Как чайки, и память уносят, клюют,
И тьма костенеет, и скалы хрипят,
И ткань будто близко и яростно рвут,
И жизнь расплзается в масляный круг –
А точкой болимой была. Обломки плывут.
Скажи мне, родимая – я ли жила
На свете? В лазури скользила, плыла?
Изумрудную травку с гусыней щипала, рвала,
И мы с нею шептались – ла-ла да ла-ла?
В луже вечность лежала, и я из нее и пила,
Разлилась эта лужа, как море, где в волнах – ножи,
Они рубят и режут. О долгие проводы – жизнь!
А ведь Бог-то нас строил – алмазы,
В костяные оправы вставлял,
А ведь Бог-то нас строил –
Как в снегу цикламены сажал,
И при этом Он весь трепетал, и горел, и дрожал,
И так сделал, чтоб все трепетало, дрожало, гудело,
Как огонь и как кровь, распадаясь, в темноты летело –
Где сразу тебя разрывают на части,
Впиваются в плечи несытые пасти,
Вынь памяти соты – они не в твоей уже власти.
И только любовь, будто Лота жена, блестит,

Копьем в этой бездне глухой висит.
Где полюс Вселенной, скажи мне, алмазный магнит!
Где белый и льдистый, сияющий Тот,
К которому мчатся отныне и Нансен, и Пири, и Скотт,
Через тьму погоняя упряжку голодных теней?
Я тоже туда, где заваленный льдинами спит
Лиловый медведь – куда кажет алмазный магнит.
Горит в небесах ли эфирный огонь,
И глаз косяки пролетают на Юг.
Птицы – нательные крестики Бога!
Много вас рвется – и снова вас много,
Вы и проводите нас до порога
Синих темнот, где найдем мы упряжку и сани,
Где через вечную тундру дорога –
Там уже не собьемся и сами.

III. Восточная

Е. Феоктистову

Встань – не стыдно при всех-то спать?
Встань – ведь скоро пора воскресать.
Крематорий – вот выбрала место для сна!
Встань – поставлю я шкалик вина.
Господи, отблеск в витрине – я это и есть?
В этом маковом зернышке воплотилась я здесь?
Что ж! Пойду погляжу цикламены в трескучем снегу,

И туда под стекло – пташкой я проскользну, убегу.
Да и всякий есть пташка – на ветке поюща,
И никто его слушать не хочет, а он разливается пуще,
Золотым опереньем укроюсь погуще,
Погадай, погадай на кофейной мне гуще.
Потому что похожа на этот я сдохший напиток,
Потому что я чувствую силу для будущих пыток.
Боже, чувствую – на страну я похожа Корею,
Наступи на меня, и я пятку Тебе согрею.
Боже, выключи зерно из меня поскорее.
Солью слез Твоих буду и ими опьюся,
Всяк есть птица поюща – так хоть на него полюбуйся.
И сквозь снег, продышав, прорастает горчичный цветок,
Позвоночники строем летят на Восток.
Форма ангела – ветер, он войдет незаметен,
Смерть твой контур объест, обведет его четко:
Это – едкое зелье, это – царская водка.
И лети же в лазури на всех парусах,
Форма ангела – ветер, он дует в висках.

IV. Западная

Н. Гучинской

На Запад, на Запад тропею теней
Все с воем уносит – туда, где темней,
Обноски, и кольца, и лица – как шар в кегельбане,

Как в мусоропровод – и все растворяет в тумане.
Так что ж я такое? Я – хляби предвечной сосуд,
Во мне Средиземное море приливом, отливом мерцает.
Я уши заткну и услышу, что в ракушке, шум,
И сохнут моря и сердца их.
А что остается на сохнущем быстро песке?
По пальцам тебе перечислю в тоске:
Моллюски, и вирши, и слизи, и локон,
Но вот уж песок, подымаясь, зачмокал.
Человеческий голос, возвышаясь, доходит
до птичьего крика, до пенья.
Ах, вскричи будто чайка, – и ты обретаешь смиренность.
Я и так уже тихая до отвораченья.
(Цветы от ужаса цвели, хотя стоял мороз,
Антихрист в небе шел – среди облаков и звезд.
Но вот спускаться стал, и на глазах он рос.
Он шел в луче голубом и тонком,
За ним вертолеты летели, верные, как болонки.
И народ на коленях стоял и крестился в потемках.
Он приблизился, вечный холод струился из глаз.
Деревянным, раскрашенным и нерожденным казался.
Нет, не ты за нас распинался!
Но он мерно и четко склоненных голов касался.)
Все с воем уносит – и только святые приходят назад.
(Вот Ксения – видишь? – босая – в гвардейском мундире до
пят,

Кирпич несет Ксения, и нимб изо льда полыхает над ней.)

Все ветер уносит на Запад тропею теней.

И стороны света надорвало пространство крестом,

Как в трещащем и рвущемся ты устоишь – на чем?

Лучше в небо давай упорхнем.

Туда – на закат, где, бледна, Персефона

С отчаяньем смотрит на диск телефона,

Где тени и части их воют и страждут,

Граната зерном утолишь ты и голод, и жажду.

1978

Валаам

Ю. Кублановскому

На колокольне так легко.

На колокольне далеко

И виден остров весь.

И мы с тобой не на земле.

Не в небе – нет,

А здесь –

Там, где и должно бы свой век

Поэту и провесть, –

Где слышно пение калек

И ангельскую весть.

1982

Глухонемой и взрослый сын
У матери – один.

Вот он сидит и жадно ест,
А если хлеба хочет –
Кричит,
Как дряхлый кочет.

Весь густо бородатый,
Как мертвецом зачатый.

И только матери он мил,
Когда услышала звонок,
Вся просияла: «Ты, сынок?»
А он в ответ ей: «Мы, мы, мы-ы».

Мы не рабы, и он не раб,
Его прогулка за спиной
Стоит, как призрачный корабль,
Подавленных желаний ряд,
И девочки, и мотыльки.

«Она рванулась... зря... я руку
Сжал этак вот... А после, после в речку».

Все это матери он яростно мычит,
А та, кивая, зажигает печку.

1982

Попугай в море

Вот после кораблекрушенья
Остался в клетке попугай.
Он на доске плывет – покуда
Не заиграет Океан.

Перебирает он слова,
Как свои шелковые перья,
Упустит – и опять поймает,
Укусит и опять подбросит.

Поет он песню о мулатке
Иль крикнет вдруг изо всей мочи
На самом на валу, на грубне, –
Что бедный попка водки хочет.

И он глядит так горделиво
На эту зыбкую равнину.
Как сердце трогает надменность
Существ беспомощных и слабых.

Бормочет он, кивая:
Согласен, но, однако...
А впрочем... вряд ли... разве...
Сугубо... И к тому же...

На скользкой он доске
Сидит и припевает,
Бразилия, любовь
Зажаты в желтых лапах,

Косит он сонным глазом,
Чтоб море обмануть.
Год дэм!.. В какой-то мере,
И строго говоря...

А волны все темней и выше,
И к ночи Океан суровой,
Он голову упрячет в перья
И спит с доверчивостью детской.

И растворяет тьма глухая
И серый Океан косматый
Комочек красно-золотистый,
Зеленый и голубоватый.

Песня птицы на дне морском

Мне нынче очень грустно,
Мне грустно до зевоты –
До утопанья в сон.
Плавны водовороты,
О, не противься морю,
Луне, воде и горю, –
Кружась, я упадаю
В заросший тиной склон,
В замшелых колоколен
Глухой немирный звон.

Птица скользит под волнами,
Гнет их с усиьем крылами.

Среди камней лощеных
Ушные завитки
Ракушек навощенных,
И водоросль змеится,
Тритон плывет над ними,
С трудом крадется птица,
Толкаясь в дно крылами,
Не вить гнездо на камне,
Не, рыбы, жить меж вами,

А петь глубинам, глыбам
В морской ночной содом,
Глухим придонным рыбам
О звездах над прудом,
О древней коже дуба
И об огне свечном,
И о пещных огнях,
Негаснущих лампадках,
О пыли мотыльков,
Об их тревоге краткой,
О выжженных костях.

Птица скользит под водами,
Гнет их с усиьем крылами.

Выест зрачок твой синяя соль,
Боль тебе клюв грызет,
Спой, вцепясь в костяное плечо,
Утопленнику про юдоль,
Где он зажигал свечу.

Птица скользит под водами,
Гнет их с усиьем крылами.

Поет, как с ветки на рассвете,
О солнце и сиянье сада,

Но вести о жаре и свете
Прохладные не верят гады.
Поверит сумрачный конек –
Когда потонет в круглой шляпке,
В ореховой сухой скорлупке
Пещерный тихий огонек –
Тогда поверит морской конек.

Стоит ли петь, где не слышит никто,
Трель выводить на дне?
С лодки свесясь, я жду тебя,
Птица, взлетай в глубине.

Покупка елки

Маленькому лесу из 48 елок – с печалью

В елочном загончике я не выбираю,
Не хожу, прицениваясь, закусив губу,
Из толпы поверженных за лапу поднимаю,
Как себя когда-то, как судьбу.

Вот ее встряхнули, измерили ей рост.
Вот уже макушкой чертит среди звезд,
И пока несу ее быстро чрез метель –
Вся в младенца сонного обернулась ель.

И, благоуханную, ставят ее в крест,
И, мерцая, ночью шевелится в темени,
Сколько в плечи брошено мишуры и звезд,
Сколько познано золотом и зеленью!

Маленькая ода к безнадежности

«Душа моя скорбит смертельно», –
Сказал он в Гефсиманской мгле.
Тоска вам сердце не сжимала?
И безнадежность не ворчала,
Как лев на раненом осле?
И душу боль не замещала?
Так вы не жили на земле.

Младенцы в чревесах тоскуют
О том, что перешли границу
Непоправимо, невозвратно –
Когда у них склубились лица.

А мытарь с каждого возьмет
Обол невыносимой боли –
Пожалте денежку за вход –
И вы увидите полет
Орла и моли.

Моцарта кости в земле кочуют,
Флейты звенят в тепличном стекле,
Они погибли не чувствуют,
Они не жили на земле.

Прятки (в театре)

Переходили... Пробегали...
Колосники, куда-то выше...
Под сценой, может быть? В провале?
Иль, может быть, уже на крыше?
Проветривали бархат синий,
Распахивали настужь ложи,
По сцене двигали с усилием
Сундук из барственной прихожей.
Со сцены пахло будто детством
И прятками в шкафу, в чулан,
Когда лежишь, зарывшись в платье
И в нафталинный сарафан...
Но все ушли... не отыскали...
Ты задыхаешься. Туман...

1998

Маленькая мучительная война

Непобедимый», «Невыносимый» и «Невезучий» –
Три русских эсминца входят в Желтое море...

Россия отбивалась от Японии спиной,
Мучительно заводя за левую пятку
Дымно-стальные эскадры.
Голова Японии твердо лежала
На блюде морей,
Ощерясь.

Сгустками света мелькают белые роботы,
Бликами света бегают быстрые рыбы,
Скоро будут сыты они и пьяны,
Будет нос у них в табаке,
Крошки матросской махорки
На дне океана.
Мотылек, заблудившись,
Перелетает с корабля на корабль.
«Если высшая ценность – в человеческой жизни,
Все остальное – не ценность», – думает мичман,
Эту мысль мотылек осыпает пылью
На японскую пушку.
Глядя на солнце Цусимы,

Сумрачно вторит ему самурай,
Первый снаряд падает мимо.

«Неустршимый», «Невзрачный» и «Неуловимый»
Режут рассветное зеркало Желтого моря.

2001

Эпилог из цикла «Солнце спускается в ад (Гимны к Адвенту)»

О темной и глупой, бессмертной любви
На русском, на звездном, на смертном, на кровном
Скажу, и тотчас зазвонят позвонки
Дурацким бубенчиком в муке любовной
К себе и к Другому,
К кому – все равно –
Томится и зреет, как первое в жизни желанье,
И если взрастить на горчичное только зерно –
Как раненый лев, упадет пред тобой мирозданье.

декабрь 2002

Из Марло

Безрукие, безносые, слепые,
Глухие и старухи, как деревья
На пустоши чернеющие в мраке,
Все жить хотят. Вот только что младенцы –
Про этих я не помню и не знаю.
Все жить волят. Что за приманка в жизни?
Быть может, мелких радостей набег?
Пробежка солнца по лицу слепому?
Вкус сливы или друга поцелуй?
Иль низменное злое содроганье?
Что держит нас, что нам уйти мешает?
Незнание, неверие в Другое?
Иль просто это – протяженность жизни?
Скольжение ее прозрачной лески,
Что, чувствуем мы, кончится крючком.
Но пусть скользит и мучит – пусть мгновенье.
Но я – другой, я – птица, я – бродильня,
Пока во мне кристаллы песнопенья
Не растворятся до конца во мраке –
Я петь желаю.

Жалоба Кинфии

«Чем виноват соловей – что в эпоху лесного пожара
Довелось ему сгинуть в огне?
Страшно ему
В час последний,
Глаза закрывая,
Видеть, как свитки родимых деревьев
В пепел сухой обратились –
Будто и не было вовсе.
Гибель родного всего.
Варваров новых язык –
Вот до чего суждено
Было судьбою дожить.
Разве мне жаль было б жалкое тело покинуть,
Если б душа моя в свитках родимых жила?»

С жалобой этою римской свою я свивала,
Сидя в развалинах римских в слезах:
В городе сняли трамвай,
Не на чем в рай укатиться,
Гнусным жиром богатства
Измазали стены.
Новый Аларих ведет войско джипов своих.
Седою бедною мышкой
Искусство в норку забилося.

Быстро поэзия сдохла,
Будто и не жила.

Римлянка, плач твой напрасен –
Через века возродится многое, пусть изменяясь.
Ныне ж все кажется мне безвозвратным,
Столь безнадежным, что лучше –
Хрупкий стеклянный поэзии город
Грубо о землю разбить.

2006

Тебе, Творец, Тебе, Тебе,
Тебе, земли вдовцу,
Тебе – огню или воде,
Птенцу или Отцу –
С кем говорю я в длинном сне,
Шепчу или кричу:
Не знаю, как другим, а мне –
Сей мир не по плечу.
Тебе, с кем мы всегда вдвоем,
Разбившись и звеня,
Скажу – укрой своим крылом,
Укрой крылом меня.

*L'antica fiamma**

Елена Шварц

Елена Шварц – одна из ярчайших звезд в небе русской поэзии XX века. В этом небе с его звездами ближними и дальними, утренними и вечерними, с его созвездиями, туманностями, метеорами и другими небесными телами, свет ее звезды – самый молодой в этой сверкающей россыпи – не потеряется и не померкнет. Но если небо поэзии, то почему только русской? Звезда Елены Шварц движется в небе мировой поэзии. В наши дни планетарность поэтических событий стала совсем наглядна. Написанное в Измайловских Ротах почти без промедления звучит на шведском или итальянском. Но дело даже не в этом. С самого начала Елена Шварц принадлежала тому поэтическому миру, который располагается над веками и традициями и открывается первыми сложенными по

* Древнее пламя (ит.). Имеются в виду слова Данте перед появлением Беатриче:

Men che dramma
di sangue m'è rimasto che non tremi:
conosco i segni dell'antica fiamma (Purg. XXX, 46–48).

(«Ни грамма Крови во мне не осталось, которая бы не трепетала: Узнаю знаки древнего пламени».) С таким чувством я впервые прочла в юности самиздатские копии стихов Елены Шварц. Они в дальнейшем составили книгу «Exercitas exorcitans» («Войско, изгоняющее бесов»).

мусическим законам словами. В мире Гомера, Данте, Эмили Диккинсон... Так было задумано – не столько ей, сколько о ней. Давным-давно, в нашей молодости я писала об этом ей (точнее, одной из ее героинь или масок, ее alter ego, римской поэтессе Кинфии, и потому элегическим дистихом):

*Нет, не забудут тебя, если будут кого-нибудь помнить.
Тихого мальчика в сад тихий садовник ведет:
– Видишь розы мои? это Гораций. А это –
возле фиалок Сафо – Кинфия, тайна и мак.*

Горация Лена любила («Две сатиры в духе Горация») и читала в оригинале:

*Курю табак турецкий, оду
Горация с трудом перевожу,
И часто мой словарь ныряет в воду.
(«Времяпровождение»)*

В оригинале она читала и других любимых поэтов: Верлена по-французски, Данте по-итальянски, Гейне по-немецки, Кольриджа по-английски, польских поэтов по-польски...

Многоязычие было ей дорого и необходимо. Вспышки иноязычных слов в визионерском «Плавании» – польских, немецких, английских, зарифмованных с русскими, – поражают.

*Вся она темная, теплая, как подгоревший каштан.
Was hat man dir, du armes Kind, getan?*

Это как сверкнувшее в прореху языковой ткани известие о том, что поэт в действительности пишет на всех языках сразу. Так

*в прорехи звезд
Сияет ослепительное тело.*

В смене языковых одежд Лена (в силу нашего долгого общения – ему лет 35, не меньше – я не могу называть ее иначе), вероятно, любила исходное – и финальное – единство стихотворного мира, единство словесного мира, «струны мировой азбуки», словами ее любимого Хлебникова.

*Он один – хотя их много –
Одинаков навсегда
Древний филин астрологов.
Спотыкаясь, всходила звезда
По проволочной лесенке полночи.*

Слова о звезде, с которых мы начали, – не тривиальная, испоганенная бесчисленными «суперстарями» метафора. Звездное небо – не метафора, и небо поэзии – тоже не метафора. Елена Шварц бесконечно любила звезды. Как сама она пишет, больше всего в этом мире:

*Из всего – только всего и жаль –
Звезды, и даже слова о звездах.*

Последнее, чего будет жаль, прощаясь с жизнью. Она знала карту звездного неба, как мало кто теперь: как старинные мореплаватели и поэты. И «слова о звездах», именованья звезд – сколько их у нее! Звезда Мицар и свирепый Сириус, Кассиопея-бабочка, все фигуры Зодиака... Быть может, только у Данте астрономия так неотступна (он, как все знают – хотя, кажется, никто не задумался, почему – и Ад, и Чистилище, и Рай заканчивает словом *stelle* – звезды): все происходящее происходит перед изменчивыми конфигурациями этих неусыпных глаз Аргуса, этих огней, этих «световых печатей»: ввиду светил. Лена нашла для них множество удивительных и очаровательных уподоблений: «тяжелое гусиное яйцо» утренней зимней звезды, «фамильное серебро» ясной весенней полночи:

*О небо! Небо! грустно мне!
И вот ты вынесло, умильное,
И выставило на окне
Все серебро свое фамильное.*

фонтан и рана звезды:

*Звезда огромная фонтаном
Над пропастью души горит
И в голове тщедушной сада
Как рана светлая болит.*

Как у Данте, все у нее кончается звездами*. Но есть нечто еще более последнее, уже после всего, после прощания.

Это стихи:

*Нет тела у меня и нету слез,
А только торба в сердце со стихами.*

С горстью русских стихов в кармане хочет она найти себя в иных пространствах. И просит, чтобы они не сгорели «в распахнутом огне» («Когда лечу над темною водой»).

Служенье Муз – для кого-то безнадежный анахронизм – было для нее простой реальностью. Нет, не простой: таинственной, священной реальностью. Образцом поэта в конце концов был для нее Царь Давид, пляшущий перед ковчегом. Священный экстаз, видение-откровение, спасительная жертва – все это входит в ее мысль о поэзии, в ее *Arg poetica*, искусство поэзии.

Елена Шварц рано – похоже, с самого начала – заговорила своим голосом. Я не знаю ни одного ее школьного или подражательного стихотворения. В первых же известных стихах (1968 года: более ранних я просто не знаю; но уже о том, что она сочиняла подростком, ходили легенды) все на месте: ее голос совершенно свободен, ее пестрый и

* Я оставляю в стороне ее сложные и напряженные отношения с Луной. Обо всем не скажешь, и эти мои заметки – ни в коей мере не полный очерк поэзии Елены Шварц.

отчетливый словарь собран, «клавиатура упоминаний» обширна и послушна, причудливый ход рассказа (шедевр здесь – «Баллада, которую в конце схватывает паралич») испробован, ритм, подвижный, как ртуть, играет («полиметрия»). Все уже удалось. Небывалый реализм интонаций: речь – обиженная, задирающая, сочувственная – записана «как живая»; от рассказа о предмете она мгновенно переходит в разговор с предметом, с любимым, попадающим на глаза:

*И повторяю: я вам не флейта,
Я не игрушка вам,
ни вам, печенка, селезенка,
ни сердцу, ни мозгам.*

Так дети заговаривают со всем, что встречают по дороге. Ибо – «Зачем книги без картинок и разговоров?» – как спрашивает кэрролловская Алиса. Но в этой как будто простодушной детскости действует взрослый, очень острый ум: остроумие в старинном смысле слова. В первых же стихах Шварц явился ее удивительный образный ряд («сравнений цепи»), та свобода от обыденного намозоленного облика вещей, какой обладают сновидцы и визионеры. Образы Шварц являются из глубины сновидений, в них просвечивают архетипические фигуры. Неслучайно потом она так увлеклась Юнгом: он исследовал и описывал то, что ей было давно и хорошо знакомо. Да, и звук: мгновенно опознаваемый звук Елены Шварц:

*Скрипят его ботинки,
Как двери рая.*

Гармонизация шумов, назвала бы я эту звуковую работу, или: просветление шумов. Консонантизм у Шварц сильнее вокализма. Но ее согласные звучат как гласные. Это музыка XX-го века, в стороне от классической кантилены.

В начале наших семидесятых годов такая ранняя самостоятельность (да и вообще самостоятельность) была просто чудом. Время для этого было крайне неблагоприятным. Елена Шварц в своем «Бурлюке», посвященном Виктору Кривулину, описывает его точно: *«пора глухоговоренья»*:

*Но вы – о бедные – для вас и чести больше,
Кто обделен с рождения, как Польша,
Кто в пору глухоговоренья
Родился – полузадушенный, больной,
Кто горло сам себе проткнул для пенья...*

Сквозь насильственное забвение, сквозь культивированное десятилетиями гуманитарное невежество (Бродский назвал его «выжженной землей культуры») только-только пробивались «настоящие» имена и стихи: ближайšie по времени – обэриуты и Серебряный век, но и классика, и древность открывались нам как последняя свежая новость.

Открылась бездна, звезд полна.

И среди этих неожиданных, сильных, властных манер не впасть в зависимость, в ученичество, в подражательность – это было почти невозможно. Кто вторил Мандельштаму, кто акмеизму вообще, кто обэриутам, кто молодому Пастернаку, кто Цветаевой. Лена не вторила никому. Самыми близкими ей по просодии были Велимир Хлебников и Михаил Кузмин. Совсем открытый Велимир – и лукавый Кузмин с «лисьим шагом» его музы.

Но важнее всего своеобразие ее ритмов, тем и образов то, что Елена Шварц знала себя поэтом и никем другим, и говорила как поэт, то есть, как власть имеющий, а не как «исполняющий обязанности поэта», ИО или ВрИО поэта, на канцелярском языке. А ведь такова реальная ситуация большинства стихотворцев. Пока не является «сам» поэт, можно решить, что ничего другого и не бывает. И не должно быть! как не уставали декларировать советские стихотворцы, похоронившие в историческом прошлом всех других, «небожителей» и «жрецов»:

*Мне грозный ангел лиры не вручал.
Рукоположен не был я в пророки –*

гордо объявлял один из столпов этой служилой поэзии. Елена Шварц говорила о себе прямо противоположное:

Огромного сияющего Бога

Я не унижу – спящего во мне.

Естественно, навлекая на себя раздражение, подозрения в нарциссизме, шарлатанстве и мании величия. Впрочем, если те, советские стихотворцы были литературными чиновниками на государственной службе, постсоветские похожи на клерков какой-то Фирмы С Ограниченной Ответственностью; но, как и прежние, они «временно исполняют обязанности» поэта. И над «небожительством» посмеются еще презрительнее. Поэт,

на миг вобравший мира боль и славу, –

совсем другое дело. Все знают, что это славно. Но как это больно, догадаться со стороны трудно.

*Живой и вставшею могилой
Лечу пред Богом одиноко.*

Она пришла в русскую поэзию со своим миром, со своим космосом: по вертикали он простирается от Альдебарана до глубины рудников и морского дна:

*Я опускаюсь на дно морское
Придонной рыбой камбалой*

по горизонтали – во все четыре стороны света. В этом мире есть Китай и Северный полюс, белорусские местечки, Аркольский мост, городок Стокгольм и Дева Венеция,

множество эпох и обитателей этих эпох («Распродажа библиотеки историка»). А птицы, а рыбы, а звери. А насекомые! пчелы, шмели, мухи, даже моль... Среди мух есть и белые мухи – Музы, а среди зверей – такие, каких можно встретить только в старых Бестиариях. Впрочем, и все шварцевские звери, птицы, пчелы, растения туда стремятся – куда-то поближе к Единорогу, в мир иносказаний. «Пятая сторона света» занимала ее не меньше четырех общеизвестных: ангелы, эльфы, саламандры, всяческие иноприродные существа – вроде китайских оборотней-лис, да еще обширная шварцевская бесология (более занимательная, чем графическая серия Дм.А.Пригова на эту неприятную тему).

Ей интересны люди, находящиеся в постоянной связи с этим пятым измерением: пифии, сивиллы, библейские пророки, святые, юродивые, алхимики, монахи всех конфессий, даосы, хасиды и фиваидские пустынники. А среди «простецов» – уроды, глухонемые, полоумные: они тоже ближе к Тому. Что же до соединения вер, которое задумывала Е.Шварц, «экуменизм», даже экуменизм без берегов – слишком слабое для этого название. Не только веры человеческие, но и веры животных и стихий она пыталась изложить и соединить («Воздушное Евангелие», «Благая весть от четырех элементов», «Труды и дни Лавинии») – или познакомить друг с другом, поселить в одном помещении («Прерывистая повесть о коммунальной квартире»).

Во всем этом утопическом проекте, несомненно, есть нечто «понарошку», некоторая игрушечность и театральность. Этот необозримый мир мог сворачиваться и помещаться в волшебном коробке театра, даже кукольного театра. Городок в табакерке. Театр биографически был ее родной стихией. Кинфия, Лавиния, юродивая, цыганка, лиса, ворона – все это роли, сыгранные Еленой Шварц на сцене стихотворного слова. Кинфия среди них, на мой взгляд, – удача всемирного масштаба. Она затмевает все знаменитые игры в античность, и «Песни Билитис», и «Письма римскому другу». Естественным образом сочинения Шварц оказывались на сцене – в петербургских и французских постановках. В ее лирической героине, когда она не выходит в каком-то сценическом костюме (да просто в ее характере), я вижу и другие образы: прежде всего, Маленькую Разбойницу из «Снежной Королевы» – и гетевскую Миньону, дитя, изгнанное из земного рая, томящееся в тюрьме земной муки. Маленькая разбойница вступает за молодого Маяковского. Дитя ждет возвращения туда, где ему – после всего – участливо скажут: «Что с тобой сделали, бедное дитя?» *Was hat man dir, du armes Kind, getan?*

Страшный мир, он для сердца тесен.

О, на волю, на волю, как те!

Список таких – миньоновских – порывов Dahin! Прочь, туда! (как эти блоковский и пастернаковский) можно продолжать до бесконечности. Поэтический порыв всегда

обнаруживает тесноту, замкнутость, несвободу налично-го мира. Мы вдруг осознаем, что мы в Египте – и надо искать выхода из рабства. Так происходит и с героями христианской мистической поэзии (сирийская «Повесть о жемчужине»). Спасение – выход, Исход. Переживание глухой, безнадежной замкнутости мира у Елены Шварц необычайно сильно. Можно подумать, что в этом причина самых острых страданий и в этом стимул новых и новых поэтических опытов побега на свободу. С этой темы все по существу начинается. «Соловей спасающий» – заглавное стихотворение Елены Шварц. Финал этого чудесного стихотворения изнемогает и рушится. Попытка городского соловья пробить звуком стену шаровидной ночи, найти в ней точку «слабее прочих» и в ней пробуравить ход в «*те пространства родные, где чудному дару будет привольно*» кончается сослагательным наклонением. Но вновь и вновь в разных стихах предпринимается этот штурм «здесьней» стены. Того, что сами поэтические звуки и образы, подарки «чудного дара», размыкают нашу глухую наличность, что они в самом начале уже услышаны, для Елены Шварц недостаточно. Ожидается какой-то другой, радикальный выход – в том числе, и освобождение стиха, «птицы в клетке» («*Строфа – она есть клетка с птицей*»). Тема клетки, плена, заточения, в котором птица поет и разговаривает, но слушать ее некому, из книги в книгу нарастает: это своего рода сюжет, развивающийся годами. Соловей «*в гладком шаре ночи*» – затем птица в клетке, а клетка в башне «*свернутой, как кокон*»:

*И мы поем, а петъ нас Бог учил,
И мы рычим, и мы клокочем,
Платок накинут – замолчим.*

Дальше больше: клетка Птицы оказывается в океане («Попугай в море»), и затем Птица поет уже на дне морском... Дальше, кажется, некуда. И вот в самых поздних стихах, из последних (цикл «Большой взрыв», опыт мистически осмысленной астрофизики, посвященный Кириллу Козыреву), образ замкнутого мироздания вдруг преобразуется: оно все оказывается полно выходов. А на месте «*точки той, слабее прочих*» оказывается исходная и финальная Точка нетленная.

*Покуда Вселенная достигнув предела
Не закатится в точку опять,
Пока электронный саван – тело,
Зачем она сияла, пела
Нам не узнать
Одно хорошо – в ней повсюду есть выходы,
Столько их, что по сути,
Все скользит из космической мути
И весь Космос – огромный Исход.
И ведет
Всю Вселенную
В Точку нетленную
В огненном облаке невидимый Моисей.*

31 окт 2009

Головокружительный финал темы. Творение как Исход.

В своих эссе о поэтах Елена Шварц предложила видеть в каждом из тех, о ком она пишет, голос какой-то стихии («Горла стихий»). Не нужно долго вглядываться, чтобы понять, что лучшее в ее голосе принадлежит огню. Не все сгорает в этом огне: остается шлак, прах, пепел, некоторые избыточные строки и стихи, к которым мы не будем возвращаться. Но там, где событие поэзии реально, там ее голос открывает свою огненную природу. В одну из наших первых встреч, в ранних семидесятых, в ее первой квартире у Черной Речки я увидела школьную зеленую дощечку, на которой мелом были написаны слова: «*Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!*» (Лк. 12, 49). Эти слова, написанные узким легким почерком Лены, смотрели прямо на входящих в комнату.

Не знаю, был ли это стих дня, который должен был наутро смениться другим. Но мне кажется, это был стих Лениной жизни. Она столько говорит о разнообразнейших видах огня: об огне звезд, грозы, огне светильников, спичек, свечек, плошек, о печном пламени (птица на дне морском поет

*О звездах над прудом,
о древней коже дуба
и об огне свечном,*

*и о пещных огнях,
негаснущих лампадах...)*

об огне молнии, о необжигающем огне Купины. Весь мир предстает у нее как эпифания огня: кровь – один из ее главных символов – носитель пламени, «*подкожный святой уголек*»; цветы – пламя растений, и прочее, и прочее... Сама жизнь – саламандра, живущая в огне. Так этот мир был задуман, так он творился:

*А ведь Бог-то нас строил – алмазы
в костяные оправы вставлял,
А ведь Бог-то нас строил –
как в снегу цикламены сажал
и при этом он весь трепетал, и горел и дрожал,
и так сделал, чтоб все трепетало, дрожало, гудело,
как огонь и как кровь, распадаясь, в темноты летело...*

И о последнем роде огня вспомним: о нежгущем благодатном огне Воскресения («Пасхальный огонь»).
Частью этого огня она хотела бы стать:

*Я бы хотела в нем уплыть –
не рыбой,
Я бы хотела в нем летать –
не птицей.
А просто слиться, раствориться.
я стала б его грубой частью,
которая, проснувшись, жжет.*

На этом мы и простимся. Теперь она часть того *древнего огня*, *antica fiamma*, с которым приходят на землю поэты и томятся, пока он не разгорится.

27 марта 2010, Лазарева Суббота.

К фотографиям

Мы редко виделись с Леной последние годы. Но регулярно переписывались – по-старинному, почтовыми письмами. Как правило, писали на открытках, привезенных из разных путешествий. Последнее письмо от нее пришло мне уже после ее смерти. А она моего последнего не успела получить.

Последний раз мы встретились во Флоренции в ноябре 2006 года, на дантовских торжествах. Торжества назывались «Данте. Искусство, которое рождает искусство». В том году они были посвящены русской и американской судьбе Данте. Были приглашены два американских поэта-лауреата (Robert Pinsky, Yusef Komunyakaa) и два российских нелауреата (Елена Шварц и я), а также американский и русский дантологи (с нашей стороны это был М.Л.Андреев). Нужно заметить, что американская сторона (государственная, дипломатическая) принимала самое активное участие в торжествах; соответственная российская, видимо, ничего о них не знала. Поэты должны были не только читать собственные стихи, но и говорить о Данте и читать что-то из других русских поэтов, вдохновленные Данте. Лена читала В.Ходасевича, я – «Стихи о неизвестном солдате». След этой нашей флорентийской встречи остался в цикле Елены Шварц «Сельвы позднего лета» (2007). Selva – чаща, запутанный лес из первых стихов «Комедии»:

Mi ritrovai in una selva oscura,

а также жанр ренессансной поэзии. Этот цикл открывается обращением ко мне:



«Введение в сельву»

О.С.

*Едва на этом свете появившись,
Я заблудилась в каменном лесу.
А ведь бросала маковые зерна,
Чтобы домой дорогу отыскать.*

*Когда произношу я слово «сельва»,
Я мимолетно вспоминаю вас
И думаю о том, что между нами
Всю жизнь идет бесшумный темный дождь...*

Может быть, это «мимолетное воспоминание» связано не только с Флоренцией, нашей последней встречей. Слово *сельва* звучало и во время нашей первой встречи, в 1976 или 1977 году, когда я читала Лене только что написанные стихи с дантовским названием *Selva selvaggia*.

На одной из этих флорентийских фотографий мы и стоим под таким темным дождем, ночью, возле дантовского Сан Джованни. На другой – Лена после выступления. На третьей – участники дантовских торжеств у входа во дворец Синьории, где все происходило: итальянский славист Ст.Гардзони, Елена Шварц, итальянский переводчик стихов Шварц Паоло (прошу прощения, фамилию не помню), я и Михаил Андреев.

